

П О Э З И Я

Виктор Кривулин

АКВАРИУМ

книга стихов

Аквариум

На пыльные зрачки слетает муха.
Как через радужное ломкое крыло,
мелькает мир, отрезанный от слуха,-
аквариум, где время протекло.
Никак не вылезти из прошлого столетья
что ни рывок- то новый террорист
с упавшей бомбой, с одинокой сетью
квартир подпольных, преданных девиц,
со старостью почти благоразумной...

Когда бы не спасительный склероз -
он удавился бы на лестнице бесшумной,
залез бы в бак помойный и пророс!
Ты, нищенская рояль, обмолвка зренья,
ты, мира нового ходячая тюрьма,
войди сюда, в иное измеренье,
в стеклянный ящик заднего угла,
войди- ты изумишься: ты свободен.

На пыльном подоконнике- скелет
с остатками прямоугольной плоти
стекла и сонной мухой на стекле,
с клошком газеты, солнцем на газете,
равно читающим и пытина и слова,-
и свет всеобщий грамотности светит
из недр гниющего повсюду вещества,
и ты стоишь, восхищен изумленьем.

Любой рывок из века- невпопад!
Мы- в девятнадцатом, со всем стихосложеньем,
с мироустройством, взятым напрокат.
Не иной задуман выполненный мною
рисунок жизни: рыбы в тростниках
толкуются и стоят серебряной стеной,
и время среди них как рыбина сквозная
не отличима от сестер.

Сестры

Тишина ожидания и тишина, когда
уже ничего не ждешь, даже надежды,
и самая тихая - третья.

Три- одиночные сестры -

И в детстве почти не играли -
ходили на станцию к поезду
с вареной картошкой и солью,
с черникой в газетных кульках.

Господи, Александрия
за тысячи километров
отсюда - за тысячи лет!

ходили через болото,
мимо разрушенной мельницы,
мимо ржавой поляны
трое тихайших сестер

Садовник тишины

Садовник тишины выращивает вечер
из почвы, загрязненной человеком
за бесконечный день отбросов и увечий,
день островов и рек и день обрывков речи.

Послушаешь, как люди говорили
на улицах, меж домом и работой,-
и столько в этом тихой истории!
За что же свет вечерний из болота,
как лотос поднялся трехлепестковый?

Город бездомных людей

Город бездомных людей обнажается вечером неким.
Где же Некрасов со сворой своих гуманистов?
где либеральная пресса с ее состраданием прежним?
все перекинто, закрылось крылом серебристым.

Ангел на шаре и полуупрокладенный купол,
небом вечерним залатанный, слабой матерью,
или же плоское облако над кубистическим клубом -
выбор ничтожен. Вертесь тополиной метелью,

летит городская природа бездомнее бомжа.
И столько народа смолкает у винных отделов -
о чем разговаривать, Боже молчанья, о чем же?

Среди раздавленных

Среди раздавленных живью, изъеденных мелкой заботой,
среди изыхающих от нелюбви,
чем я отмечен - гавно из гавна, большеротый,
головоногий птенец, и невидимые соловьи

зачем окружают меня, прогибая и пения пространство?
Урождена не про нас красота,
призрачнородных, распластанных ночью, как паста,
на простыне уничтожения, в окнах прямого креста.

Вогнутый, вдавленный силой в клетку грудную,
что я за щебет во мне?
Голос не слышен - и льется во щель звуковую,
падая в руки, угадываемое не вполне.

Или явление Христа отменило пожар во слове?³
Тело воскресшее стало звучанием родным
среди старух, изыхающих от нелюбви,
и привокзальных пьянчуг, опаленных сиянием стальным.

Что же — обломок язычества, житель советского лимба,
не отличимый от них ни одеждой, ни кругом судьбы, —
я не возвышу свой голос и не зазвучу, как пылинка,
в раструбе страшной трубы?

Не для излития

Не для излития жечи я голос мой поднял.
Не обиды во мне говорят, не послевоенное детство,
Но обновленные жизни при свете исподнем —
жизни, живущие трудно и тесно.

Мало сочувствия, мало им — и состраданья,
и в постороннем участии — лишь неудобство прямое.
Сколько торгующих полуживыми цветами
возле вокзалов, на дне социального гноя!

Экая радость — поникшее тельце чрльпана,
высоколобые служащие георгины!
Все это будет поставлено в темных сосудах,
все это ночью исполнится пламенем чуда.

Если цветы умирают, как люди, то люди
не умирают, не дышат, не требуют песен:
так неуклюже и молча, в таком неземном неувяте,
с нечеловеческим неравновесьем

между сбъдненным жестом и душевным алканьем,
только так — не иначе! — то, что я знаю,
происходило, без тени комфорта и кайфа —
словно бы ежеминутно живу, охликает,

и озираюсь: откуда? и чуть не кричу, умолкая

Закат в гавани

Боль - как солнце во сплетении солнечном.
Крылатое солнце сквозит по ребрам -
так на закате воронья стая
пересекает солнечный диск.

Боль ко всему, что ни облито светом,
что ограничено светом вечернего часа.
О, какие тихие люди,
какие же тихие в эту пору!

Такие- что смех за деревьями сада
в отравленный слух мой вошел как рыданье,
и море вокруг, а не просто морские курсанты
с белыми девушками своими.

Их воскресенье кончается, и магазины закрыты
Море плоского света и низкое солнце -
как печать на строеньях вечерних,
словно каждое зданье - больница.

Двойная тюрьма

На что ни смотрю - глаза как дети больные.
Свет не вмещает ни одной слезы.
Из центра ладони исходит жар,
из ладони лежащей на сердце.

Если мне измены мои, разомкни мои слезные кости.
На что ни смотрю - глаза как двойная тюрьма,
выходящая длинной стеной
на реку, на ледоход.

Мы смотрели с другого берега,
из окна холодного дома:
там заглян прожектор - и окна,
все окна погасли сразу же.

Вкрадчивых снерек было длинным теченье,
дольше, чем разговор /не помню о чём/.
Я на что ни смотрел - оно угасало тотчас,
и не оставалось времени омыть и оплакать.

Остаться бы

Остаться бы, как ровный европеец
на грани пониманья и насмешки,
вне этой жизни, рваной и смешной,
чье сердце и свербит и свирепеет.

Остановиться бы куском чужого смысла,
спасительного мыла душевого,
под мутным ливнем щедрости душевой
подумать: Я ~~живу~~ - не о себе -

в земле, где власть - явление природы,
где женщины как высокшие тыкви,
где родственное обращенье "ты!"
уничит постороннего кого-то.

Сестры

Красный угол черепицы
среди зарослей сезанна
чеховское чаепитье
на веранде и взаимъе
нудящего разговора:
как мы все-таки болтливы!

Женщины, они сильнее
в эту призрачную пору
превращения идей
в тему, в заросли крапивы
в доски дачного забора.

Лицами, рабами чтива
труженицы и творцы беседы
о годах восьмидесятых
об каком-то общем деле

Сад, погрязнувший в цитатах!
Красный уголь черепицы
в синеве лесного света
Голос нравственницы, чтичи
шорох платья и страницы
шелест птицы и газеты.

Сад из двух деревьев

Дерево крови, шумящее глухо во мне,
и дерево дыхания, вниз обратясь от гортани,
и зелень безумная хлещет извне,
из ветхого сада и скверна свиданий -

все это не я! никогда это не было мной!
Какие-то внешние лица, события, слезы...
В открытых глазах моих- дерево крови. Закрой -
и дерево дыханья внутри зацветет, как заноза.

Но с тем человеком, какой задохнулся в груди,
кто сделался кровью моей, разомкнувшей кольцо
обращенья, -
ничто не случится- ни смерти, ни порабощенья,
и тайная тля не коснется его посреди
угарного транспортного ущелья,
где жизнь моя движется по неземному пути.

Четыре отрывка о природе летнего света

1.

Светло. Но самий свет несозерцаем.
На переломе северного лета
растеряна душа: естественного света
ей мало, как бы ни было светло
но вечерам. Я прожил с ожиданьем,
что все изменится — и не произошло
ни чуда, ни последней катастрофы.

Политика в Москве, а здесь — кинематограф,
не жизнь, а съемочные пробы
на фоне Всадника и ангелов недобрых.

Я прожил, гробя каждое мгновенье
для вы-мышленной этой красоты,
для сей симметрии смертльной.
Я сделался литературной тенью —
и вот светло. Глаза мои чисты,
не видение в них, но плоское виденье —
так души смотрят с высоты
на помещенья прежние свои.

Светло по-прежнему. Как некто из романса,
перебирая старые бумаги,
наткнешься на признание в любви.
Я предал все, что мог, для магии словесной!
В Москве — политика, а здесь настолько тесно
и столь нечеловечески светло,
что легче устоять при совершенном ираке.

2.

Темный влажный свет в июне.
Те, которых помню, ртутной
тяжестью в меня втекали,
тяжестно. Узнаванья

труд медлительный и трудный
в душнопокаянном свете.

Лето протекало в тучах,
в яминах и пропаденьях -
в толще сплющенного сердца
двигалось, кровоточило.

3.

На цветах дыханья твоего
раскачиваются синие пчелы -
и это метафора утра,
почему-то не бывшего с нами.

Его никогда не было, утра.
Я ложился, когда рассветало,
и ты лежала, как мертвая,
в седом, негаснущем свете.

Все дано, все готово для смерти!
И в цветах Твоего дыханья
пчелы моего лица
легче искусственных роз.

4.

И сорвал натюрморт со стены.
Я не след, я не пятнышко бита!
С незапятнанной стороны
пусть ко мне обратится бумага,
перед образом жизни раскрыта,

перед каждым карандашом,
перед каждым дрожанием света -
Я - не след! я не столь отрешен
и не зритель. Моя дальновидная влага
изнутри, из невидимой крови согрета.

И повесил картинку лицом
к желтым неосвещенным обоям.
Вещи мертвые съедены белым листом,
и любимые люди всегда не с тобою —
но пускай остается и дышит любое
прикасание к чистому полу, где есть
лишь надежды скользящее изображенье —
и такое, что глаз никогда не отвесьт,
и такое, что зренье всегда безответно!
И когда отвернулся — почужи движенье

за спинор

июнь 1978